

Друг мой

Я сочинил пьесу.

До этого писал стихи, рассказы, романы с детективным сюжетом. И вот — пьеса. Откуда взялась, как проклюнулась, зачем вылупилась — непонятно. Неактуально, даже не смешно. Но — проклюнулась и вылупилась. Я одарил ею всех вокруг, кто вообще читать умеет, и все стали хвалить, некоторые даже восторгаться. И советы давать: «Ты в один акт всё записал, а там ведь много такого, что требует развёрнутого действия, там внутри пьесы — ещё пара сюжетов. Что ж ты так к себе расточительно относишься, зачем на материале экономишь?»

Когда устал слушать восторги и советы, я отправил пьесу другу. Я знал, что друг как минимум заинтересуется. Персонаж, главный герой — тот, кто ему симпатичен, важен для него. Пьеса такая... хотя и мистическая, но герой — реальный человек, писатель, мистификатор, оставивший после своей смерти много вопросов и загадок. Мы его книжку знаменитую покупали ещё по три рубля шестьдесят две копейки. Вспомнили? Кто не вспомнил — погулите.

Я отвлекусь. Вот «сочинил» — правильное слово. Не «написал», потому что это само собой разумеется, а именно — сочинил. По Далю, «сочинять» — «изобретать, вымышлять, придумывать, творить умственно, производить духом, силою воображенья». И ещё — по Далю же — «выдумать, солгать, рассказать придуманную небылицу, вздорную весть». Вот я умственно, духом, силою воображенья, солгал придуманную небылицу. Может, для кого-то даже вздорную весть.

В общем, отправил другу. И стал ждать ответа, его реакции. Он не соврёт. Он, когда я ещё по своим стихам и песням в подгузниках ходил, когда только искал свой голос, — он меня хлестал по моим кургузым рифмам немилосердно, не как в бане веником — как розгами в старину за провинность. Или — так ближе — как в армии солдатской пряжкой по голой заднице. Не случилось? Не советую пробовать. Больно. Хотя порой и полезно: трезвит, на жизнь начинаешь смотреть с таким... яростным азартом.

Своими ехидными замечаниями, убийными, точными, как удары солдатской пряжки, друг меня закалил. Я стал искать и находить сочные

рифмы, яркие образы, выразительные метафоры, стал работать с размером — словом, стал работать. Стал «творить умственно, производить духом и силою воображенья». И получил признание. Хотел написать: «широкое в узких кругах», — но ведь банально, избито, да? Хотя и правда.

В общем, ещё раз повторю, ибо это важно для повествования: отправил пьесу другу. И стал ждать ответа.

И ответ пришёл скоро. И был он таков:

«Как сказал царь Соломон мудрый: „Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?“ И вот ты, кажется, встал. Михалыч, тот редкий случай, когда ничего сказать тебе не могу, ничего советовать не стану. Таки случилось».

Я читал сообщение в смартфоне — и отчётливо видел, как мой друг тербит поседевшую свою бородку, как морщит лоб, собирая благородные морщины над большим еврейским носом, как раздвигает губы в одобряюще-иронической улыбке. Он никогда не был краткословен, всегда — склонен к велеречивости, изысному слогу. Он сыпал в послания цитатами из притч Соломоновых, которые читал, кажется, в глубоком детстве, фразами из всех четырёх Евангелий, которые едва держал в руках, из сочинений любимых писателей. Такая особенность: если хоть раз пробежал текст — запомнил на всю жизнь. Он это делал так, что всё казалось — его собственное, им придуманное, прожитое и пережитое. Да так и было. Закончил же в свойственной, опять же, ему манере — напутственно: «До совершенства далеко, но шаг сделан, жду с нетерпением следующего».

Я вздохнул, спрятал телефон.

Стоял ноябрь, самое начало. Навалило как-то сразу много снега, он был мокрый, липучий, противный. Температура «плюс-минус ноль» делала ноябрь и вовсе неприятным. Я бродил по скверу, слушал взволнованных птичек, озабоченных снегопадом, готовящим для них холодную (хотя — как знать?) и голодную (тоже не факт) зиму. Слушал ветер, который сдувал свежий снег с веток, и снег напоминал весеннюю капель, и думал о том, что всё в мире непостоянно и непредсказуемо. Главное — непознаваемо. Осень свободно оборачивается ранней весной, весна может внезапно повеять

зимней стужей, невидимое, неизвестное запросто окажется зримым и осязаемым.

Моего друга нет уже почти двенадцать лет. Он погиб, безвременно, нелепо. В маленьком городе, где он жил, его поминают до сих пор: большинство — добром, некоторые — с иронией, а то и злобой. На всех не угодишь. Я живу в другом городе, но иногда осенью бываю на его могилке, за которой никто не ухаживает, хотя — есть кому. Я выдираю сухую траву, навожу относительный порядок, хотя раз в год порядок не наведёшь, и могилка приходит в запустение. Я смотрю на его смеющееся лицо — очень хорошее фото на памятке, живое, позитивное. И разговариваю с ним. Шлю ему послания. И получаю ответы — вот как сейчас. Откуда? Кто знает.

Откуда я знаю, где он сейчас?

Откуда мне знать, что он и правда умер?..

Да и я... Откуда мне знать — жив ли я сам?

Ничего в этой жизни хорошего нет

Он сидел в своей квартире в Академгородке. Тускло смотрел на чистый лист. Следовало бы написать: «Тоскливо смотрел...» — но он смотрел тускло. Не было тоски. Ничего не было — ни тоски, ни радости. Ни предвкушения чего-то, ни предвестия расставания с чем-то. Даже равнодушия не было. Для равнодушия нужна хотя бы... душа, что ли. Душу у него давно отняли. Осталась одна пустота.

Он сидел в своей... да нет, не квартире. В комнате. Ещё точнее — в конуре своей, запущенной, заплёванной, зарастающей всюду грязью, по углам — паутиной. И не в Академгородке сидел, а на окраине, такой, что и рабочей не назовёшь. И грезил, что сидит в квартире в Академгородке. И смотрит на чистый лист. Хотя даже лист был — грязный, засаленный, и ручка по нему ходила плохо. То есть — ходила хорошо, гладко, скользко ей было. А вот писать — не писала. Да и нечего ей было писать. Она — инструмент подчинённый, ходит — как поведут.

Он яростно поскрёб ручкой по листу. Вышло: «Ничего в этой жизни хорошего нет». Он удивился, что вообще что-то вышло. Подумал — и засмеялся, хрипло, тускло, как будто нетрезво. Но — трезво, потому что пить давно было не на что. Прочитал вслух себе:

— «Ничего в этой жизни хорошего нет»... — и снова засмеялся. — Точно. Ничего. Вот и сказал. Вот и всё... стихотворенье... села муха на варенье...

И вздохнул коротко, деловито.

— Пора идти, ладно.

Вывал листок, аккуратно сложил его, чтобы пролез в карман. Похлопал по карману: пролез. Карман был на старом пиджаке, не то чтобы совсем уж позорном, чтобы в люди его не являли, но поношенном. Проверил другой карман — там тоже всё было в порядке, всё на месте.

Погасил тусклую пыльную лампочку... нет, всё-таки — люстру: она у него сохранилась с той поры, когда жил в Академгородке. Но была всё-таки тусклой, не мытой много... месяцев? лет? Как знать?..

Вышел на остановку, дождался нужного автобуса, нашёл свободное место, предъявил социальную карту — и задремал. Дремал до самой конечной, ничего во сне не видя.

Кондуктор-киргиз разбудил вежливо, коснувшись плеча:

— Канец... дальше нет...

Он улыбнулся:

— Да-да... канец...

Сошёл, вдохнул глубоко. Пахло Енисеем и травами. Он пошёл вдоль берега, вдоль обрыва, в сторону храма. Храм открыли недавно, малое число прихожан ещё не успело натоптать к нему большую дорогу. Да и настоятеля здесь до сих пор не было, и стоял он большей частью закрытый. Золочёные купола светили на закате... тускло.

Не доходя храма, он свернул ближе к обрыву. Снял пиджак, вынул из одного кармана сложенную бумажку, из другого — другое. Пиджак аккуратно расстелил на траве. Бумажку сунул под пиджак, чтобы не унесло ветром, но так, чтобы уголок высовывался. Должны же найти, увидеть. Улёгся на пиджак, взял в руку то, что вынул из другого кармана, взвёл курок, поднёс ствол к виску. Выстрел прозвучал глуше, чем если бы он стрелял вверх или вдаль.

Но он стрелял в висок.

Два человека шли вдоль обрыва по тропинке. Двое мужчин. Один — небольшого роста, не сказать — щупленький, но и обратного не скажешь. Второй — рослый, с крутыми плечами, мордастый. Одеты так, как одеваются люди бедные, но себя блюдущие: чистенько и местами штопано. Шли себе, никуда не торопясь, без особых дел, вроде прогуляться. Стоял июльский душноватый вечер, солнце почти село, но ещё тускло отражалось в золочёных куполах храма. Шли друг за другом, гуськом. Впереди — щуплый... нет, не щуплый — сухопарый, вот, наверное, правильное слово. За ним — плечистый, мордастый, тут иначе не скажешь. Сухопарый вдруг остановился, потрогал ногой травинку у тропинки, склонился. Сорвал травинку, растёр, понюхал. Второй, лениясь обойти, топтался, спросил недовольно:

— Ну чего? Чего опять?

Первый задумчиво спросил:

— Вот ты, Валентин, как представляешь себе конец жизни?

— Чьей?

Первый усмехнулся:

— Своей, чьей ещё-то?..

Мордастый хрюкнул, опять недовольно:

— Своей— никак, а вот твоей... Вот будешь так останавливаться, задумываться— дам по башке, скину тебя к Енисею— хрен кто найдёт.

— А за что, Валентин?

— А за то, что достал ты меня своими дурацкими вопросами, мыслями идиотскими. Жалею уже, что приютил тебя. То среди ночи вскакиваешь, строчишь что-то, то— как сейчас... Ну гуляем же, идём же— какого тебе надо?

Первый вздохнул неопределённо.

— Чёрт его знает какого... Может, выпить охота, оттого и мысли голову шевелят?

Второй опять хрюкнул:

— Размечтался... Пропили мы с тобой всё, Костян, что было, и назанимали— дальше некуда. Терпи. Воду пей.

Первый отряхнул руки, снова вздохнул.

— Ну да, ну да... Ладно. Дальше пойдём, или ну его к лешему?

— Леший— дело лесное. В выходные там вон, за храмом, компания пикниковала— может, бутылки остались те, что принимают? Глядишь, хоть на пиво наскребём. Айда!— он нетерпеливо топтался.

— Ну айда,— первый шагнул в сторону храма.

И тут они услышали выстрел. Глухой какой-то... утренний.

— Стреляют, что ли? Салют какой?— спросил мордастый.

— Вряд ли салют. И праздника нет, и не видно никакого следа. Да и выстрел какой-то... не стреляют так, когда салют. Пойдём посмотрим.

— Боязно...

— Не бзди. Пойдём.

Они обошли храм, вышли к обрыву. Тело увидели сразу, оба, и оба сразу остановились.

— Оба-на,— сказал первый,— кажись, трупец.

— С чего ты взял-то?

Второй шагнул ближе, нагнулся. Занервничал вдруг. Человек лежал на животе, неловко вытянув ноги, поза неудобная. Правая рука сжимала пистолет, из правого виска сочилась кровь, а левого просто не было— пуля вышла вместе с височной костью. Трава рядом была бурого цвета.

Он склонился над трупом, вдруг зачем-то повернул его.

— Ты что?— задохнулся первый.— Ты охренел? Зачем ты его трогаешь?

Второй поднял голову. Лицо— белое, как извёстка. Сказал трясущимися губами:

— Юрка это... брат мой... Юрка это...

Он задохнулся.

— Ладно, ладно,— сказал первый.— Точно не обознался? Ты отойди, передохни, расскажи— полегчает.

Мордастый послушался, осторожно положил мёртвую голову на траву, о траву отёр руки, встал, отошёл.

— Я его три года назад потерял. Он, как только жена его, Томка, спуталась с кем-то... знать бы с кем!— у него с той поры голову повело. И Томке не повезло. Не смогла она жить с тем козлом, повесилась. Юрка узнал— поклялся отомстить, да вот... не пришлось... Квартиру свою в Академгородке продал, так что я и не знал об этом, в один день продал. И уехал куда-то. Я думал— в другой город, но вот...— он показал на труп и зарыдал в голос, уже не сдерживаясь.

Субтильный подошёл к нему, погладил по косматой шевелюре.

— Ладно, ладно, чего плакать-то? Ну, случилось так— что поделаешь?

Второй яростно отбросил руку, повернул мокрое лицо:

— Дурак ты, Костян, дурак и сволочь! Мы братья были, понял? Мы с детства друг на друга надыхаться не могли.

— Голубые, что ли?— второй едва успел отскокить— кулак просвистел мимо.

— Спокойно, ты, недоделанный! Я ведь тоже кое-что умею— смотри, как бы на ответ не нарваться.

Второй, впрочем, тут же и успокоился.

— Да ладно, правда, что это я? Чего тебя бить-то? Всё равно что мешок с говном пинать... Юрка стихи писал, пьесы писал, его даже ставили в театре... забыл— каком. А вот как жена ушла— сломалось в нём что-то. Пить стал и— вот, квартиру продал и смылся. Ну вот и встретились,— он опять заплакал.

Первый немного подождал. Потом осторожно подошёл.

— Можешь рассуждать сейчас здраво?

Мордастый утёр слезы, успокоился, посмотрел на товарища внимательно.

— Попробую.

— Тогда давай рассуждать. Мы с тобой нашли его случайно, так? Но мы с тобой— как бы это сказать... не бомжи, конечно, но элементы социально неблагополучные... непривлекательные и ненадёжные. Ментам повесить на нас убийство— святое дело. Тем более ты его ворочал. Это им статистику, раскрываемость повысит. Надо что-то с этим делать.

Товарищ не понял, смотрел на тощего вопрошательно.

— Не понял?— усмехнулся тот.— Ну смотри. Брата ты уже лишил, это факт, тут и медицины не надо. И помочь он, твой брат, тебе уже ничем не может, может только навредить. Что это значит?

— Ну, что?— второй всё ещё не понимал.

— Надо его сбросить вниз,— первый посмотрел на второго жёстко, не мигая.— Там, в овраге под кручей, его ещё долго никто не найдёт. А может, и вообще никогда и никто не найдёт.

Второй инстинктивно потянулся руками к горлу первого— тот отступил.

— Ты не торопись, придушить меня ты всегда успеешь, в крайнем случае ночью, в твоей же квартире. Ты подумай лучше. Вот сейчас подумай, пока не поздно ещё, пока никто в полицию не стукнул о выстреле и двух сомнительных типах. Потом-то хрен мы отмажемся, Валентин, — вдруг усмехнулся враждебно: — Или ты хоронить его собираешься? Я тогда пошёл, Бог тебе в помощь.

Валентин всхлипнул, понял.

— Ладно, чёрт... что делать?.. Скидывай. Только сам, ладно? Не могу я, брат мой, понимаешь?

— Понимаю. Давай отойди подальше.

Процедура заняла минуту или две. Тело долго шуршало травой. Валентин стоял, отвернувшись, плакал. Костян подошёл, обнял за плечи:

— Ну всё, всё... Пойдём выпьем, помянем раба Божьего.

Второй изумлённо уставился, даже плакать перестал:

— Помянем? На что? Деньги-то откуда?

— Ну, были там у него, в куртке, бумажки. Ощущение, что он и сам о них забыл — такие мусоленные, грязные. Да нам-то что? Пойдём, Валентин. Мёртвому уже не поможешь, а мы-то живые...

Денег хватило на плохую водку, дешёвое пиво, пару банок рыбных консервов и буханку «социального» хлеба. Продавщица поморщилась при виде мятых бумажек, но взяла — каких ещё денег ждать от бомжей? Хватило и на пару пластиковых стаканов. Вернулись на кручу, сели прямо на траву. В июле она здесь — жёлтая, как осенью: выжженная, скользкая. Зато сухо. Разлили. Выпили, не чокаясь. Валентин опять хлюпнул носом. Костя... да нет, пусть уж остаётся Костяном... Костян потрепал его по плечу, налил по новой.

— Ладно, друг, не хлюпай. Давай ещё по одной. Светлая память.

Выпил, положил стакан на траву. Зашуршал.

— Он тут записку оставил. Послание в будущее, — Костян на всякий случай отклонился.

Но второй мял в руках пластик стакана — вот-вот прольёт. Кажется, даже не сразу осознал, о чём говорит товарищ. Выпил наконец, восторженно: — Что? Что ты говоришь? Какая записка? Кому? — Откуда знаю? Говорю же — послание...

— Да пошёл ты с посланием своим! Читай давай. Может, он мне что написал?

Костян развернул бумажку, разгладил. Вечера в июле даже на Енисее долгие. Солнце уже село, но буквы хоть тускло, но ещё читались. На грязноватой бумаге виднелись слова: «Ничего в этой жизни хорошего нет». И рядом — нарисованный человечек: палка — туловище, четыре палки враскоряку, овал сверху — голова... Валентин завыл: — Это ж мне послание, мне! Это он так в детстве рисовал — ручки-ножки-огуречик!.. Это мне привет, ты понял, Костян? Мне! Значит, он хотел,

чтобы я его нашёл. А ты его — в обрыв... У-у-у, сука! — он замахнулся, но не ударил.

Костян спокойно смотрел на него. Знал, что не ударит. Усмехнулся.

— Ладно, друг, не дури. Тебе, не тебе — какая разница теперь? Я его не убивал, я труп убрал, чтобы нас с тобой по дурости не повязали. Он — труп теперь, а не брат никакой. Ни тебе, ни...

Он вдруг как-то странно усмехнулся, остро взглянул на товарища. Налил ещё, кивнул: пей.

Выпили. Сублинный зацепил пластмассовой ложкой кильку, положил её на кусок хлеба, сжевал. Снова усмехнулся.

— Я тут отоглою пойду, а ты готовься пока. Сопли утри. Расскажу тебе кое-что.

Мордастый посмотрел недоуменно, покачал головой. На дне бутылки ещё плескалось, но глаза у напарника сделались уже мутные, странные.

Он вернулся, сел поодаль, на самом краю обрыва, как будто опасаясь товарища.

— Я бы никогда тебе про это не рассказал, но сейчас... чего уж... — Костян вздохнул глубоко, как перед прыжком. — Это я у твоего Юрки жену увёл. Это со мной она жить не смогла, у меня в квартире повесилась. Я потому теперь бездомный, что... ну, не смог я потом жить в той квартире. Она мне каждую ночь являлась. Проснусь среди ночи — она висит. Говорю: чего тебе? Она молчит и язык синий показывает... зараза... За мучила меня. Чуть не чокнулся. Квартиру даже продать не смог — просто бросил. Поджёт напоследок — слыхал, наверно? И документы свои сжёг, чтобы не докапывались. Потому к тебе и пришёл.

Валентин встал, задыхаясь, шёл к товарищу. Тот усмехнулся:

— Ты подожди. Дотянуться успеешь... Я ж тебе это просто так, по-дружески, рассказал. Томка хорошая баба была, и по дому, и... умная. Поговорить с ней было о чём. Не как с тобой. Она книжки читала. Но... — тут он усмехнулся. — Понимаешь, книжки книжкам — рознь. Если ты жизнь переменяла свою — чего ты к прошлому-то тянешься? Она тянулась. Она Юркины пьесы доставала где-то, читала их тайком. Я нашёл, ну... вцепил ей. Она ответила. Знаешь, что такое семейная драка? Самое паскудное, что в жизни может быть. Гнусное и пошлое. Я когда-то был — эстет, а тут...

Валентин стоял, заворожённый рассказом. Простонал — не прохрипел:

— Дальше. Дальше давай...

Первый усмехнулся.

— Ну что дальше... Сказала: лучше повеситься, чем с тобой жить. Ну и вешайся, говорю. И ушёл на работу — я работал ещё тогда, хрень бульварную редактировал. Пришёл — и нашёл: висит. И знаешь — даже не огорчился. Каждый себя сам определяет в жизни и смерти, что бы там ни говорили

нам попы. А потом вот—ночи эти бессонные... Ну как я мог там жить?

— А квартиру-то зачем поджёг? Там же ещё вокруг люди, могло всё плохо кончиться.

— Люди? А ты их видел? Уроды, а не люди. Не жалко мне их было нисколько—алкаши, круче нас с тобой теперешних. Маргиналы. Книжек в глаза не видели. Ну и не сгорел ведь никто.

Валентин вздохнул тяжело.

— Гад ты,—сказал.—Всё-таки гад. Давить тебя надо. Зря я тебя к себе взял.

Костян усмехнулся недобро.

— Ну, гад, допустим. Дальше? Давить меня станешь? Пробуй. Я тебе ещё одну вещь скажу. Почему ко мне Томка ушла? Потому что я лучше всех вас, уродов недоделанных. Я—интеллектуал, а вы—козлы вонючие.

Не глядя на товарища, он булькнул в стаканы остатки водки, открыл пиво.

— Ну, пить-то будешь? Или—всё, дружба врозь, на одном гектаре теперь со мной не сядешь?

Валентин стоял молча, как будто задумался. Потом вздохнул тяжело, взял стакан с водкой, взял пиво. Выпил водку, запил из горлышка.

— Ты, выходит, двоих порешил, сукин ты сын...

— А ты поругайся ещё—и тебя к ним отправлю,—Костян достал из кармана пистолет, который забрал у самоубийцы.—Мне и Томку не жалко—тебя, что ли, придурка, жалеть? Ты «жи-ши» с буквой «ы» пишешь. И Волга у тебя из Енисея вытекает. Давно ушёл бы от тебя, только жить негде,—он опять усмехнулся злобно.—Ты мне вроде по башке хотел дать, в обрыв скинуть? Ну, давай, чего ждёшь-то? Не так всё повернулось? И ключ от квартиры твоей—у меня. Понял, морда, идиот двухметровый?

Валентин вдруг с неожиданной прытью кинулся на товарища—и успел бы, пожалуй, тот не догадался привести пистолет в боевое состояние. (Да и—что там!—не умел он владеть оружием, ни боевым, ни каким ещё.) Камушек помешал. Обыкновенный такой, тускло отсвечивающий в траве камушек. Большая нога ступила на маленький камушек, Валентин оступился, заскользил на сухой траве—и полетел с кручи вниз.

Он и кричать не стал.

Тело долго шуршало травой.

Костян подошёл к краю, поглядел вниз—и ничего не увидел. Круча—метров двести, а то и все триста. Внизу—скальные и кусты. Вариантов нет. Если и найдут, так нескоро. Да и что найдут-то?

Обнаружил, что в левой руке по-прежнему держит пластиковый стакан с водкой. Не расплескал даже. Выпил, запил пивом. Бутылки скинул вниз—где-то там, далеко, они звякнули. На траве белел бумажный лоскут—он поднял. «Ничего в этой жизни хорошего нет»,—прочитал. Усмехнулся. — Это точно. Ничего. Жизнь даётся человеку только раз, и та...—хотел сказать грубо, но только сглотнул.

Смял бумажку, бросил в обрыв. Подумал и добавил:

— Да и смерть—не лучше.

Он ещё осмотрел место трапезы, скинул вниз остатки консервов, размахнулся и закинул далеко—кажется, прямо в Енисей—пистолет. И пошёл, нащупав в кармане ключи от чужой квартиры.

Навстречу ему, на фоне серого вечернего июльского неба, тускло желтели купола храма. Они молча спрашивали: как он будет теперь с этим жить?

Так же, как жил без этого.